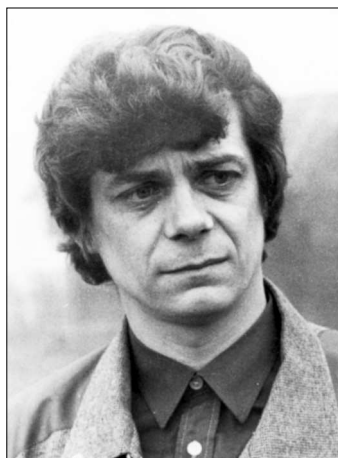


П Р О З А

Николай СМИРНОВ



Родился в 1950 г. в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области.

До 1962 г. рос на Колыме, где репрессированный отец отбывал ссылку после окончания срока заключения по 58-й статье. Колымские впечатления позже легли в основу многих прозаических произведений писателя. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

С 1990-х гг. работает собственным корреспондентом газеты «Золотое кольцо».

Стихи, проза, литературоведческие статьи публиковались в коллективных сборниках, журналах «Юность», «Волга», «День и ночь», «Русский путь на рубеже веков», в литературной газете «Очарованный странник», местной периодике.

Автор шести книг, вышедших в Ярославле: «Кладбищенская земляника» (1991), «Невеста в тёмном» (1997), «Световое оконышко» (2004), «Пора моя неподсудная» (2005), «Повести и рассказы» (2011), «Дева-книга» (2013).

Лауреат премии журнала «Юность», областной премии им. Л. Н. Трефолева и премии им. Н. С. Лескова.

Член Союза российских писателей. Живёт в Мышкине.

Время шестой трубы

Рассказы

Три креста

Студентов прислали убирать морковь в большое село на Оке, и четверых, как бывало это и прежде, поселили в большой избе у Николая Васильевича Долгополова. Один из них, молодой интеллигент, болгарин Божидар, едва переступив через порог, увидел иконы и сразу стал выпрашивать хозяина:

— Вы верите в Бога? А скажите, как вы его представляете? В виде старика?

Острое сухое лицо с умными глазами и бородкой клинышком искажилось: Николай Васильевич вскрикнул негодуя и, грубо заругавшись, отскочил от болгарина к шестку. Божидар невозмутимо прошёл в горницу, где уже располагались его товарищи, открыл форточки, напуская холодный сентябрьский воздух. Долгополов опять забрался: он же нарочно печку натопил, поджидая студентов, ведь это не город! Заставил болгарина закрыть.

— А если жарко, то иди на улицу!

И Божидар вышел. Его добрые славянские глаза под тяжёлыми очками стали слегка растерянными, когда увидели в огороде под окном дома, точно три диковинных синих дерева, три креста, как на кладбище, новые, сияющие свежей краской, с улицы сокрытые кустами смородины, а с другой стороны — вишнями. Он постоял, поглядел и подумал опасливо, что дед сошёл с ума, а зачем поставлены эти кресты, уже не решился у него спросить.

— Дед этот не простой! — говорили потом квартиранты не раз, оглядывая высокую сухопарую фигуру Долгополова в картузе, в темно-синем, с узкой талией, заблестевшем от носки старинном пиджаке.

Стройный, бравый Соловьёв и коротенький азербайджанец Ильхам, тоже очень бравый, гуляли допоздна, норовили привести на лежанку, за печную переборку, девок, заводили там до полуночи магнитофон. Божидар стал возмущаться, что не дают спать, а двадцатилетний хитрый сибирячок пожаловался втихую Николаю Васильевичу. Старик очень не любил этой музыки и пригрозил:

— Я им покажу!

Спать на печку он забрался с фонариком.

Сначала вошёл, тихо крадучись, Соловьёв, и дед, направив на него луч фонарика с печки, резко крикнул:

— Стой, кто идёт?

Сибирячок лежал и слушал, едва сдерживая смех. Но Николай Васильевич почему-то вдруг замолчал, ругани не получилось — он уже забылся кратким, тёмным сном. И засияла в этом сне счастливая минута: будто он глядит сверху на Оку и одновременно сам в себя — таким стал большим; и всё ближе спускается в село, к своему дому — посмотреть на жену, умершую в прошлом году, на Васятку, погибшего в Москве на заводе во время аварии. Старшего сына, Владимира, убитого в войну, он не ожидал увидеть. Сам в себя, словно в синий терем, глядит с небесной высоты и видит уже вокруг избы, внизу, — цветы, и почему-то всё красные розы, и вокруг них пчёлки вьются, сияют крылышками. Но не дали ему на своих посмотреть — тут же проснулся, услышав, как отворилась в темноте дверь. Это от совхозной поварихи пробирался Ильхам. Дед навёл на него фонарик и, ещё не очнувшись от сонной высоты, выкрикнул злобно и непонятно:

— Иди спи на крыше!

Но тотчас же погасил свет и замолчал, и опять настоящей ругани, несмотря на ожидание сибирячка, почему-то не получилось. Хозяин или сдерживался изо всех сил, или ему что-то не давало заругаться. Точно это другой старик на печи, а не сердитый дневной хозяин. Обещал, а тут вдруг — верть в другую сторону. И эта ситуация, как бывает в молодости при избытке сил, особенно это «верть», бессмысленно смешила сибирячка.

Вырос он в таёжном селе у Енисея. Губастый, чубатый, он в книжных спорах был очень упрямым, Ильхам с Соловьёвым называли его провинциалом, усмехались, что он «тайга тайгой». Поблизости от его родного села долго оставались последние скиты, от туда ходили самописные книги по народу, и старики спорили, какое сейчас время: пятой

или шестой трубы? Что теперь последует по суду: война, измена, мор или глад? В горке у дедушки он однажды нашёл школьную тетрадку, где красными и фиолетовыми старинными буквами было написано о некоем замечательном путешествии старца и юного брата, как шли они в тайге по какому-то нетропическому месту, и старец, запинаясь за коряги, всё падал и приговаривал:

— Ради Христа, ради святыни век ходил бы по пустыне...

Как привязалось к сибирячку это «Иди спать на крышу!», так он всё повторял и повторял про себя эти долгополовские слова, бессмысленно веселясь. Да тут же припомнилось и это «замечательное путешествие», и как он спросил дедушку: куда путешествовали старец с отроком? А дедушка сердито ответил:

— К лесному Вергазулию!

Таким чёртом пугала мать в детстве, когда он не слушался. «Хорошо бы и у Николая Васильевича спросить, какая теперь труба трубит над миром. Да и про Вергазулия», — смешливо придумывал сибирячок и представлял, как Долгополов, наверное, на такой вопрос страшно разобидится, заругает как Божидара. Так он и заснул: весело, легко, будто выпив хорошего вина, ушёл в здоровый молодой сон, в котором отмахивался от роя таких же радостных молодых сновидений.

А Николай Васильевич больше не засыпал, так вдруг стало жалко ему Васятку, младшего сына. Старшего, Владимира, военная смерть томила не так — свыкся. Сам он воевал еще в первую войну с немцами, в четырнадцатом году, а в эту служил в обозе, возил валенки на базы. Полезли в душу ночь, холод... Дед, забываясь, стал пристанывать, принывать, а сам всё ехал и ехал на возу по чёрному снегу, привалившись к укрытым брезентом валенкам. Такой же чёрный снег бил и в лицо...

Надо было подниматься, ставить в печку картошку. Услышав, что хозяин встал и быстро помолился, вышел из горницы и сибирячок. Он смотрел, как Николай Васильевич щепал лучину: она ложилась у полена на полу веером, яркая, как лучи, в мёрзком дождливого рассвета. Русская печка быстро разгоралась, бурлил на весь дом чугунок с картошкой и морковкой. Когда Долгополов открывал заслонку, красной рябью обдавало кухонное окно в дождевых каплях. Сощурившись, подолгу смотрел он огнистым лицом туда, в живое гнездо домашнего, ручного пламени. Вынимал из чугунка — упарилась ли? — оранжевый конус моркови, говорил: «Вот морковь», — и замолкал, и тишина наливалась иконным светом в душе студента — как капли дождя алым, праздничным отливом на рябом тёмном окне. И студент задумчиво удивлялся домашнему огню, бурлению чугунка, этому смутному утру и молчанию хозяина, продолжавшему звучать вокруг, как какое-то родное, но непонятное слово. Дед, забываясь, ходил от стола к печке, принывая, подстанывая по своему обыкновению, и так же привычно, в нескольких словах, всё говорил о своей жизни, о жене, о Василии. Веранда, где сын спал летом, приезжая в отпуск, была заколочена. Дед туда никого не пускал, повесил по стенкам фотографии, там, да и в избе прибил всю мебель к полу, чтобы не сдвигали с места. И поставил в палисаднике три креста: по Василию, по жене, а на последнем вывел: «Долгополов Николай Васильевич, 1896—197?» Знак вопроса точно допытывал: а что там, за датами жизни и смерти? Студенты, поглядывая на них каждый день, ничего не говорили и не расспрашивали Николая Васильевича, догадываясь, что это не понравится старику, как и глупый вопрос про Бога. Лишь обиженный Божидар шепнул сибирячку убеждённо, что дед, видимо, от одиночества сошёл с ума.

— Теперь умрёшь и будешь валяться на печке один — вытащить некому! — задумчиво говорил дед, выжидая, пока остынет мягко парившая, треснувшая от жара картофелина. Держа её в длинных перстах перед лицом, медленно отхватывал кусочки и долго пережёвывал, глядя перед собой.

Встали и прошли на двор Ильхам с Соловьёвым.

— Как старика подговорили — волком смотрит! Иди, говорит, спать — на крышу! — обиженно, ещё не проснувшимся голосом выговорил Ильхам сибирячку, и тот весь день вспоминал эти слова и ухмылялся.

Дед надел синюю телогрейку, резиновые сапоги, взял в руки палочку и, несмотря на дождь, собрался идти, как он говорил, «к своим», то есть на кладбище. Василия в закрытом гробу привезли из Москвы в село, и старуху свою Николай Васильевич похоронил с ним рядом.

Согбенно шёл Долгополов по колеистой улице, знакомой ему семьдесят лет, и, склонив остроносую голову набок, поглядывал тусклым пронзительным оком, словно в тёмном мокром мире угадывал прогалы, откуда говорило ему то молчание, которое удивило сибирячка в избе; и он выхватывал глазами куски этого молчания и продолжал с ним безгласно разговаривать и о чём-то просить. Как серая вата, с неба заваливала мир музыка уныния. Охваченные осенним туском, особенно нежно и ярко, будто жалуясь, атели шапки рябины у калиток. Быстро подходил Долгополов к хмурому огромному храму. Давно уже здесь устроили овощехранилище, и торчала нелепо в сером небе изогнутая ржавая арматура ободранного шатра. Казался он пугалом или призраком, а подлинный, памятный Долгополову с детства храм сокрылся, как под шапкой-невидимкой, от ненастья и времени. В голове у Николая Васильевича какая-то гнусавая песенка, точно с пластинки, замаякала и усочилась вовне, в дождь, будто её и не было. Поклонившись знакомой старухе, стоявшей у могилы внучка, он прошёл к крайней от паперти ограде. За ней ярко синела в серой и бурой траве новая лавочка. Упершись в неё руками, Долгополов ушёл привычно в себя, в принадлежащий ему терем жизни, чудным и ярким куполом невидимо стоявший и гулом высоты своей полнивший осенний, хилый мир вокруг. И, словно становясь памятью о забытом самом себе, точно прислонясь замерзшей спиной к невидимой стене, сидел так, пока не промокла на плечах телогрейка. Возвращаясь домой, неторопливо на улице со всеми раскланивался, заговаривал весело.

Сегодня должны были хоронить молодого парня, насмерть сбитого машиной. Чубатый сибирячок к полудню пошёл на кладбище посмотреть. Издали натужно, как из-под земли, наносило гудение барабана и духовую музыку, которая неприятной волной докатывалась до души. Потом бабы сами, без попа, начали служить по покойнику панихиду. В низко повязанных платках хмуро зыркали они глазами из пения. Тоненькое, протяжное, унылое, оно не подходило к их одежде и грубым лицам. Впереди, осев на перемазанные в глине лопаты, стояли распаренные от копки и вина два круглых молодых мужичка. Один, в расстёгнутой телогрейке, с добродушным лицом, уставился на студента.

— Что, посмотреть пришёл? — спросил угрожающим шёпотом и с такой ненавистью в глазах, что студент сразу же отступил подальше, в бурую мокрую траву.

Долгополов вечером в избе говорил, что и его приглашали на похороны, но он не пошёл, потому что не признаёт самозванного отпевания, без попа. «А кресты разве можно в огороде ставить? В этом тоже что-то новое?» — разгадывал про себя сибирячок. Зачем сделал он их сразу же после того, как схоронил жену, долго пилил, выстругивал брусья в сарайке, рыл чёрную, прогретую тёплым августом землю? И перед окнами, выкрашенные такой же синей краской, они стояли теперь, как крестовины окон невидимого мира, который безгласно начинается где-то здесь. Будто и село, и дом с прибитой к полу мебелью, и печка с ручным огнём, и веранда с фотографиями — всё было пригвождено к трём синим, сгущавшим живое безмолвие крестам.

Молчание это словно передалось студентам: поглядывая на кресты каждый день, они ничего не говорили, не удивлялись. И не скоро, и не каждому из них дано понять, как

жили тысячу лет на Руси: в каждом деле, в каждой избе, в каждом лице молчал Христос, угадывая волю Божью: так ли я делаю? А Соловьёв, если бы ему сейчас сказали, что он через два года эмигрирует, а потом в Америке станет православным священником, ни за что бы не поверил.

Гегель и Николай Чудотворец

За деревянными двухэтажными бараками, у болота, стояли сарайка и четыре улья, где пчёлы так и не смогли прижиться. Со стороны болота по уродливому тыну вымахало несколько берёз и три сосны, на которых гнездились вороны. Ульи, пустые, старые, горбились на кочковатом бугре, в черничнике, в чащобе рябинок и крушины, а рядом, в низинке, где не просыхало, хозяин, учитель истории Столбов, пытался утвердить грядки, носил каждую весну навоз и землю за двести метров с картофельной полосы, бутил болото срубленными кустами, разными гнилушками, но то, что весной не уносило разлившейся водой, засасывал пльвун, и грядки снова прорастали болотными кочками.

Сосед, сантехник, каждую весну через забор кричал:

— Ты в воде копаешься, а холм у тебя пустует! Расчисть его!

Но учителю с женой было жалко этой зелени с черничником, особенно нежных, белых ландышей, зацветавших в мае.

Картошку он сажал на полосе, распаханной уже на открытом месте, у дороги, устал и бубнил недовольно, что каждый год ему приходится разгораживать забор для пахоты и опять загораживать, что это — пустая работа...

Было это на другой день после праздника Победы, и жена сказала:

— Я тебя обрадую, тёща принесла тебе бутылку самогона.

Пошёл домой, выпил, повеселел и захотел ещё поработать: схватил плоский ящик с яровизированной картошкой и, неловко держа его на животе, перед собой, потащил в огород. И пока шёл, ему вдруг вспомнилось студенчество, Гегель с философией религии и лекциями по эстетике, которые он в московском университете прочитал дважды, а потом ещё и законспектировал.

Мир, хмелея, сверкал в лучах, празднично пели соловьи, а снизу, из болотца, дружно хрипели лягушки.

— Что такое абсолютный дух? — бормотал Столбов, кряхтя над неудобным ящиком. — Ничего! Пустое место! Как могла прийти такая мысль этому здороволицему немцу-еретику? Что есть какой-то абсолютный дух, который всё творит?

Еретик — это было любимое дочкино словечко. Столбов и не заметил, как повторил его...

Прошлой осенью ему вырезали раковую опухоль. Нынче весной он вообще не хотел сажать картошку, но не утерпел. В больнице он много думал о смерти и впервые удивился, что столько самых учёных книг прочёл, и ни одна теперь не поможет укрепиться, все — как сказки. Гегель, Дарвин, Фрейд... Чем они теперь помогут ему? Книги представлялись далёкими от жизни, вторичными, а авторы — смешными старичками-затейниками. Тогда он впервые и подумал: «Как это дико — писать, что какая-то птичка от случая к случаю самосовершенствуется для эволюции, что якобы развивается какой-то абсолютный дух! А смерть?.. Зачем я читал эти сказки, учился и работал? Значит, всё зря?»

Доработать до пенсии ему оставалось три года. В молодости он мечтал помотаться по стройкам Сибири, но после университета возвратился в посёлок, где нужны были люди и где строилось жильё. Здесь тогда было крупное торфопредприятие, а теперь оно захирело.

На уроках он иногда любил пошутить: просил учеников «подать ему предмет!» Кто-то, уже зная этот номер, весело протягивал ему авторучку, кто-то учебник, но он ехидно повторял:

— Я прошу — предмет! Как же так, все вы знаете, что такое предмет, а показать не можете? — начинал он загадочно и умолкал с хитроватой миной. — А, впрочем...

— Вон египетский баран идёт — сейчас будет предметы просить, — говорили о нём со смехом ученики.

Почему египетский — понятно. Он вёл уроки по истории Древнего мира. А почему баран? Потому что глупый, что ли?

Был у него друг Аркаша, уже пенсионер. Но тот уже три года как умер, и поговорить теперь было не с кем. Столбов стал ходить на пруды, образовавшиеся после выработки торфа, ловить там расплодившихся ротанов. В огороде, в сарае, для развлечения делал стулья из берёзы.

Друг Аркаша любил вспоминать, как после войны начинал свою трудовую биографию в обкоме комсомола, в Белоруссии. Но в посёлке он давным-давно, поближе к тёплым краям появился из Воркуты. Работал в парткоме торфопредприятия, потом учителем вместе со Столбовым, учился заочно в аспирантуре, пытался защищать диссертацию, это растянулось на десять лет, так и не защитил.

— В обкоме сказали, что лучше на этой теме поставить крест, — говорил он.

Дочка Столбова закончила аспирантуру и теперь вышла замуж, работала в музее, в областном городе, «занималась иконами», ходила в церковь. С ней он любил поговорить, задавал каверзные вопросы, за которые она, разгорячаясь, и обзывала его еретиком. Но дочка приезжала всё реже и реже. Жена, тоже учительница, книгами, кроме положенных по программе, не интересовалась. Тихая и добрая, особенно не любила она спорить и доказывать, «кто я такой есть».

Хлюпая по торфяной жиже, Столбов поставил ящик в сарайку и побежал домой.

— Сейчас я ему нанесу удар! — бормотал он весело и азартно.

Всё внутри у него кипело припадком энергии, как бывает это у пьяных. Тюбетейка на голове странно гляделась при камуфляжной спецовке. Роста он был небольшого, зато нос — почтенный, борода — культурная, седая, а глаза — быстрые, со звёздочками, придававшими ехидное выражение. Если бы сейчас чудо произошло, то есть кто-нибудь из однокурсников — а все они жили в больших городах — повстречался ему и подхватил этот спор с невидимым Гегелем, то он воспринял бы всё по-другому. Может быть, даже обиделся и наверняка отрёкся: «Я картошку сажаю да лечусь от рака отваром чаги и си-ней болотной глиной. Какой мне Гегель?!»

У пруда столкнулся с молоденькой учительницей английского языка. Она рассматривала валявшегося у тропинки голубя: уж не от птичьего ли гриппа умер? Притворившись трезвым, он перевалил носком сапога голубя на другой бок, разглядели свежую рану на груди.

Отойдя несколько шагов, он забыл и голубя, и учительницу, потому что на ум вернулось, вспыхнув, новое: «Яровизация духа!» Что это такое — он знал, поэтому и побежал быстрее. Дома снова хлебнул самогона, прямо из горлышка, и, утирая подбородок, бросился к полке с книгами. Вот он, Гегель, в сером, как болотная лечебная глина, переплёте. После титула — вклейка с посмертной гипсовой маской. Столбов уставился на неё уличающе: да-да, типично немецкое лицо, похожее на блюдо с творогом!

Перелистал страницы и попал на предложение, начинавшееся словом «божественное». Потянул его, как червяка, за хвост. Но головы у этого червяка не оказалось. И другие слова, как черви, шевелились и кипели, и не было ни одного отдельного, каждое цеплялось за другое, и все сливались в одно месиво и в итоге ничего не выражали. Слова плыли, как пловун в огороде, и вконец опьяневший философ так и завяз на первом абзаце.

Перед тем, как увалиться спать, помолился Николаю Чудотворцу, что, честно признаться, делал очень редко. Икона ему давным-давно, в молодости, когда он женился, досталась случайно от бабушки. Та сама попросила: «Не возьмёшь ли? После поповской дочери осталась...» Олифа на лице почернела от копоти, и он тогда, придя домой, принялся сразу же азартно размывать её ацетоном и уксусом. Свежестью цветов луговых повеяло от засиявших влажно красок. Увлёкшись, протёр золотой поручень. Не потому ли той же ночью чудотворец ему и приснился: в таких же красных ризах с золотыми крестами в розетках; святитель прошёл через комнату и, обернувшись в углу, посмотрел строго, погрозил пальцем, а пройдя стену насквозь, исчез. На другой день Столбов, тогда ещё бывший студентом, уже не решился размывать икону. Этот сон, правда, тогда его не удивил, но в последние годы вспоминался всё чаще. Особенно глаза чудотворца — по-отцовски серьёзные.

Он, уже засыпая, лениво вспомнил большое лицо Гегеля и вдруг покаянно спохватился: «А я какой?» И сразу в узком окне сознания рядом с блюдом творога закоричневело пятно торфяной лужи из огорода и оборвыш старой бумаги с каким-то карандашным росчерком. Может, это и была яровизация духа, но и она не помогла: так и не соединившись ни во что внятное, образы, просияв, канули во тьму воображения.

Ночью с неба закрапало, задул сильный ветер, и со стороны Волги стало вспыхивать бледное, серое зарево. Оно, внезапно пронизанное серыми молниями, становилось когтистым, но когти эти не могли захватить всё небо. Хлынул дождь.

Хмурое утро дало ему передышку. Столбов устало подумал, что в огород не надо идти в такую сырость, оконную раму в кухне красить — тоже; и поймал в себе хвостик ночных, родившихся под серым внутренним светом мыслей. Но тут в квартиру позвонили:

— Завешивайте дверь!

В подъезде впервые за двадцать лет белили потолок. Малярихи были одинакового роста: одна — русая, с пристальными, притягивающими глазами, другая — черная, с глазами весёлыми. Эти всё сказавшие о себе глаза почему-то особенно удивили, так и стояли в уме весь день.

Умылся, и тут только спохватился, что хвостик утренних мыслей юркнул туда, где они ночью родились под серыми вспышками света. Так, казалось ему, в посёлке все люди — и учителя, и чиновники — просыпались с мыслями, что он, то есть каждый, существует на свете сам по себе и душа у каждого видела самую себя, истинную, только в утреннем зеркале настроения, а потом все снова сливались с тьмой обыденности, которая в ослеплении душевном казалась им яркой явью, кроме которой ничего не может быть....

Жена соседям и знакомым говорила, что дело у него пошло на поправку, что мужу становится всё лучше и лучше, что синяя глина помогает.

Через полгода его перевели на инвалидность. Он лечился и сидел дома. Однажды, по звонку жены, из города спешно приехала дочка. Она была в мать, такая же крупная и тихая, с чуть вьющимися пышными чёрными волосами. Он сказал ей, что с утра ему сегодня захотелось почитать Псалтырь. Евангелие у него есть, а свой Псалтырь, старинный, он когда-то отдал ей.

— Я тебе дам новый, смотри, словно знала, его привезла! — ответила она, тревожно разглядывая его лицо в красно-жёлтых аллергических от лекарств пятнах, и протянула синий карманный псалтырь...

Столбов сидел в самодельном кресле из берёзы и, подцепляя тонкие листочки жёлтыми, набрякшими пальцами, с увлечением прочитал несколько псалмов, сказал задумчиво:

— Вот где вершина мировой поэзии, а не у Гегеля... Мысль здесь двигается прыжками, точно перескакивая бездны... Применила бы ты это, Ирина, к толкованию иконописных сюжетов!

Дочка, не дослушав его, ушла в кухню и заплакала. Но он не заметил, что снова разговаривает сам с собой, вдруг нервно забеспокоился, как это часто бывает у больных. Его неприятно удивило собственное жадное желание листать Псалтырь. Спыхватился: его же читают по покойникам! Не признак ли это близкого конца?.. И не оттого ли — только теперь осознал наяву — за дочкиной спиной появился, постоял и исчез кто-то тёмный, как человеческая тень...

Умер он в майский день, когда опять сажали картошку и весеннее болото залило его огород. Захрипели, захоркали, справляя свадьбу, аристофановские, как иронично называл их Столбов, лягушки. Сосед за забором пил водку и копал гряды. Забивая голоса птиц и лягушек, громко кричало с межи радио.

Было это в воскресенье. С утра Столбов смотрел телевизор, а потом попросил жену:

— Что-то выпить захотелось...

Она сходила в магазин и принесла бутылку водки. Но он уже дремал на диване. Ему грезилось, что едут они с Аркашей на автомобиле домой из больницы. В открытом окне мелькают берёзовые перелески, пышет благодатью лугового лета. Вдруг Аркаша резко тормозит. «Мы стрекозу сбили!» — роняет Аркаша удручённо. И Столбов видит на пугающем, тёмном асфальте большую, с синими самоцветами глаз стрекозу. Аркаша поднимает её, ещё шевелящуюся, пропускающую свет сквозь тонкую кожу крыльев. «Стоит ли из-за этого пустяка останавливаться, дома нас ждут», — раздражённо думает Столбов. Но Аркаша начинает что-то доказывать и даже от азарта, по своему обыкновению, притопывает ножкой. Невыразимые грусть и отчаянье выделяются на его старом лице. «Надо поставить на ней крест!» — последнее, что слышит Столбов от друга...

Жена подошла его будить, тронула за плечо, а он уже не дышит.

Врач сказал, что умер муж лёгкой смертью, какая редко таким больным выпадает. И жена, радуясь этому, рассказывала соседям:

— Одно хорошо — не мучился!

Невыпитую бутылку водки она положила ему в гроб.

Мирмишель

Лицо у него было рыхлое, бледное, как блин; часто приглаживая редкий рыжевато-белый пушок волос, сквозь которые розовела кожа, он перед карманным зеркальцем выворачивал коричневые маслянистые глаза, по-собачьи голые, беззащитные и одновременно нахальные. Носил длинное пальто в талию из молочно-серого драпа, такую же кепку с нахлобученным козырьком, из-под которого торчал блестящий красный нос. Издали на улице в своём наряде он был похож на большую бледную поганку. Таким был мой друг Сойкин.

Как множеству подростков тех лет, ему нравились рок-н-ролл и буги-вуги, хотя никто в нашем городишке толком под эту музыку танцевать не умел. Но он, прищурившись

по-блатному, вытягивая губы, выпускал дым длинной струёй и изображал перед нами эти буги-вуги, почему-то вызывавшие у меня в памяти нечто сказочное: вывороченные корни и тёмный лес с Бабой-ягой.

Колька, приняв меня в свою компанию, повёл нас зимним вечером на кучу угля — подсматривать в мутное окно женской бани (летом они ходили на пристань, залезали под доски сходен и заглядывали в щели, под подола проходящим пассажиркам). Отказаться было трудно: засмеют. Всех он называл по кличкам: Колчедан, Шпандырь, Щекотуха! Здоровенный Колчедан иногда прятался на кладбище в кустах и занимался онанизмом. «Пойдём его спугнём!» — ухмылялся Сойкин и, подкрадываясь, громогласным, поддельным хахаканьем подымал из кустов смущённого Колчедана. Просто так Сойкин не умел смеяться.

Я, иногда подшучивая над Колькой, боялся его — собачьи глаза Сойкина быстро делались противными. «Я сказал! — угрожая, повторял он: — Вот так вот!» Мы учились в одном классе, был он на три года старше меня, переросток. В контрольной работе по физике писал «алюминь», смешно оговаривался: вместо «вермишель» говорил «мирмишель»! Раз шли по улице, он откусил мозольную кожу с пальца и спросил задумчиво: «Как ты думаешь, ей больно?» Я пораился его глупости, стал объяснять, что такие вопросы у меня тоже возникали, но лет в шесть-восемь. Сойкин выслушал мои восклицания, и лицо его снова заполнилось пустотой скуки, то есть приняло своё всегдашнее выражение.

Вся большая семья их быстро перевелась. Откуда они появились — не знаю, скорее всего, из деревни. Жили Сойкины у самого кладбища в тупике улицы, в большом, под разлапистой крышей и со светёлкой доме с пристройками для скотины. Мать — дородная круглолицая белая, как ромашка, с черными волосами, с ночными, коровьими глазами и таким озадаченным выражением на лице, будто собралась сказать что-то, да и забыла. Весной она ходила в ярком новом пальто, зимой — в шубе, выглядела наряднее многих своих ровесниц. Соседки говорили, что она ленива, нигде не работала, занималась только по дому, с детьми и со скотиной. А муж рядом с ней выглядел живчиком, он был меньше ростом, щупловат, узколиц, всегда в спецовке, в керзачах с отогнутыми голенищами. Печник, он всегда спешно работал, разговаривал с сыновьями крикливо, нетерпеливо перебивая: «Я тебе сказал! Вот так вот!» — и сыпал, сыпал словами. Но дети отца не очень слушали, да и мать всё время их защищала. Особенно после того, как нелепо утонул в Волге старший сын, тридцатилетний Саша.

За Сашей шёл первый послевоенный — Лёха. Лицо у него было изуродовано корябинами — как горох молотили. Это соседский парень, его дружок, выстрелил нечаянно из отцовского ружья, изранил, изрубил лицо порохом и дробью. И заикался Лёха от испуга. За ним — шестнадцатилетний мой друг Колька, потом Серёга — на год моложе и Игорь, самый маленький, лет двенадцати, в таких же, как у матери, веснушках. Сергей и Лёха были узколицыми, в отца, а Колька — с круглой, творожистой, бледной и рыхлой физиономией — в мать, и в характере его сквозило что-то женское, мстительное и нечистое.

Весной перед их домом улица тонула в чёрной грязи, я пробирался по ней к своему новому другу, поначалу восхищавшему меня удалством и непохожестью на других мальчишек. Моя мать, узнав про эту дружбу, часто мне выговаривала, называя Сойкина «отдельным, заугольным, от всех отличным человеком». А мне как раз это в нём и нравилось.

Старший — Лёха в светёлке рисовал масляными красками картины, предпочитая древнерусские сражения. Он и жил там, наверху, своей жизнью, а Колька и Серёга — другой. Однажды Лёха спросил меня: «Какие тогда у русских были флаги? Я нарисовал красные». На его картине ярко кипела битва на Куликовом поле. Спрашивая, он мучи-

тельно заикался, лицо, изуродованное корябинами, сводила судорога. Он один и уцелел из братьев Сойкиных, стал художником и проживает, спиваясь, теперь где-то в Петербурге.

Мы болтались по городишку вечерами, собирали гривенники на бутылку дешёвого вина. Уличные вольные разговоры, курение, вино... Потом они, учуяв, что я не похож на них, знаю, как правильно написать «алюминь» и «мирмишель», по мелочам стали привязываться, к тому же и выходить по-настоящему на мелкое воровство с ними я боялся. Как-то поздним вечером шли мимо причала, и Колька забежал на катер посмотреть, нет ли в трюме пустых бутылок или ещё чего-нибудь, а сторож поймал его и раза три заехал в скулу. Сойкин истошно заорал и, когда мы убежали аж к собору, всё щупал свою скулу и смотрел с каким-то глупым видом. Мне показалось это очень забавным. Я смеялся, шагая в темноте за его спиной, а он, не оборачиваясь, сказал: «Ты у нас — Коля умный!» После этого они всё чаще стали меня дразнить, издеваться, а потом потребовали откупиться от них двумя бутылками водки...

Теперь никого из них нет в нашем городишке. Родители быстро дожили остаток своей жизни, вслед за Сашей и средний, Сергей, утонул в Волге. Колька быстро женился, уехал в город Тольятти и там пьяный выпал из окна девятого этажа, по случайности остался жив, а может, оттого, что пьяные почти не чувствуют болевого шока. Его перевели на инвалидность, даже голос у него изменился — охрип; и он вскоре умер. Младший, Игорь, похожий на мать веснушками и тем же недоумённым выражением лица, где-то затерялся. И только старухи с кладбищенской улицы ещё помнят эту семью. Я подметил, что в домах рядом с кладбищем жизнь часто несчастлива: пьянство, необычные страшные убийства.

Сегодня в доме Сойкиных живёт с большой семьёй благочинный отец Иоанн, и когда я прохожу мимо этого дома погулять за городовое поле, мне всё чаще вспоминается мой друг Колька. Обида, вражда, в которые переменилось наше приятельство, за десятилетия взрослой жизни забылись. Сойкин всё чаще появляется в моих мыслях в том зимнем, в талию, драповом пальто, в нахлобученной кепке. И так, вживаясь в воспоминания, я хожу здесь уже несколько лет. И мне думается: здесь, в овраге с кладбищенским ручьем, — обрыв, хтоническая дыра, плавный переход в иной мир, в замогилье. Сойкина образ точно выходит оттуда, всё уплотняется, маячит, пляшет бледной поганкой вдалеке, отрывает буги-вуги в сереющем сугробами поле.

В ветреном, проснувшемся после снегопада небе весёлые молодые облака. Снег редко курится на низких крышах сараев, подтаявши, падает длинным, просветным столбом с оцинкованного заново верха кладбищенской церкви. Влево от паперти, по штакетнику ограды — между старинными чёрными мраморными памятниками — сугробы просвечивают от чистоты. Там игрушечная канавка тропинки будто уводит в замогилье между заметёнными крестами, в свою снежную мирмишель, где тесно содвинулись белоствольные берёзы, чёрные ели и извилистые, умершие липы, похожие на огромных змеевидных чудищ. Деревья все старые, и кажется, за каждым из них начинается свой мир, а кладбище стоит отдельным царством, вытесняя плотным мифическим массивом привычную улицу, её домики и проснувшееся синим небо в радостных юных облаках, а если шагнёшь на эту тропинку, в замогилье, за первые сугробы, то поймёшь, что миру тому, фантастическому, призрачному, нет конца.

Угольные вороны на голых деревьях вслед мне орут, как мелкие бесы. Я выхожу в мартовское белое и сегодня отдающее теплом поле: против солнца оно слепит; горизонт в талых наплывах туч. К вечеру начинается капризная, последняя метель — в ней в белосером драпе растворилась жизнь моего друга: с воем проносится его расплющенный об-

раз, как душа самоубийцы, пленённая вьюгой. Так и живёт он где-то рядом, в замогилье, ест мирмишель.

Часто вечером по телевизору увидев что-нибудь американское — бар, танцы, дикую музыку или развлекательное кино про бандитов, — я шутливо восклицаю: жаль, что Сойкин не дожил до такой жизни! Он об этом мечтал и как бы удивился, узнав, что мечта его исполнилась и в каждом кино уже играют буги-вуги или ругаются на блатном языке.

Или он уже тогда насытился крохами будущего... и погиб, может, поэтому? Вся его жизнь — предсказание, что всё, чего мы тогда хотели: и это кино, и музыка дикая — будет. «Я — сказал! Вот так вот!..» А я не понимал... Да и сейчас плохо разбираюсь в знаках, всех этих будто бы случайных, наподобие мирмишели, оговорок... «А что предрекает теперь мне его мелькающий образ?» — думаю уже серьёзно, ворочаясь на кровати, и всё лезет из сна белесая пелена метели и в ней плоская, как вырезанная из картона фигурка в нахлобученной грибом кепке, в нелепом, приталенном пальто. И глупо спрашивать, как про ту откушенную от мозоли шевырюжку: больно ли, как ты думаешь, этому Кольке Сойкину в сугробах замогилья?

Цветы в книге

В коридоре библиотеки на столе, где выкладывают старые книги для бесплатной выдачи читателям, я увидел роман Тургенева «Дым». Целомудренными белыми нарциссами была заложена страница о зарождении любви, а следующие, страстные, где герой уже любовался «красивым изгибом её блестящей шеи, впивал тонкий запах её волос», — красными тюльпанами.

Цветы давно высохли, но так и пахло от них огородом, где стоят в солнечной благодати две женщины и переливают битый час из пустого в порожнее, как неодобрительно подумывает о них окучивающий картошку сосед. Болтают, окружённые незабудками, астрами и гладиолусами, стеснительно подслушивающими их с длинной клумбы. Парфюмерно густой, висящий в воздухе запах от кирпичного цвета лилий. Велосипед в тени у сарая, голубая стрекоза, вибрирующая над смородинным кустом, всплеск зелёной лягушки в яме, откуда берут воду на поливку, любопытная чёрно-белая трясогузка, ныряющая по только что выполотой грядке с луком... Жаль, не воскресить их разговор — улетел на ветер. Как и жизнь директора школы, райкомовского служащего, учителя Базиликина, пенсионерки Фаины Васильевны. На постаревшей бумаге форзаца скромно в уголке помечено, что это её книга...

Я хорошо знал Фаину Васильевну — синеглазое имя очень подходило ей. Голос медленный, проникающий, лицо несколько худое от недоедания, но кожа с нежным отливом, лениво небрежный поворот маленькой, гордой головки, русокудрая, тонкокостная. Через год после завершения войны она окончила педагогический институт. В платье с синими и чёрными розетками она ехала по назначению на место работы в поезде и познакомилась с демобилизовавшимся солдатом, высоким, с узкой длинной головой, ярко-синеглазым. Они разговаривали через столик. Поискав в вещмешке, вынул банку тушенки, блеснувшую слабо, приятно пахнущую солидолом, солдат ловко распорол её перочинным немецким ножиком. Фаина застеснялась, сначала не брала, а он хвастался, что они уже объелись консервами, у них ими собак сторожевых кормят. Глаза у него хоть

и серьёзные, но глуповатые. Высоко, по-петушиному задирает он узкую голову, смешил. А она такой тушёнки с детства довоенного не видала.

Переживая всё это потом не раз, она вспоминала ещё одно лицо — большое, с вислыми морщинами, с чёрными усами под огромными стёклами чиненных очков. Колхозный конюх ехал с ними недолго. И пахло от него конюшной, и глаза по-лошадиному влажные, чёрные, бессловесно понимающие людей. Чувствуя их устойчивый взгляд, Фаина Васильевна глядела, как бобрик, падавший солдату на лоб, выигрывал жидким сиянием. Вдруг свет погас, в темноте солдат почувствовался близко — до замирания сердца, и в лохмотьях мрака представился с длинной чёрной гривой волос, как писатель из девятнадцатого века или артист. Свет ворвался сверху — и снова он стал Толей. Девушка замечала, что начинает говорить с ним низким, не своим голосом.

— Тонкой талией и округлыми бёдрами под плиссированной юбкой вы похожи на перевёрнутую рюмочку, — шепнул Толя, заглядывая в глаза.

Это отдалось в Фаине стыдливой телесной радостью, и хотя она и заметила, что он «переходит все границы», но, не выдержав, засмеялась. Их поезд в шутку называли «пятисотый веселый». Составленный из разных вагонов (они, как сказал конюх, оказались в телячьем), ехал он до читинского села Олятуй целый месяц, потому что больше стоял на запасных путях, пропуская встречные поезда с солдатами.

В чемодане у неё лежали новые парусиновые туфли, начищенные зубным порошком, учебник литературы и книга любимого Тургенева...

Приехав на место назначения, в школу, она почувствовала, что забеременела. Два дня проплакала, питаясь одними яблоками из огорода, и решила вернуться в родной уездный город, к родителям, в дом с квартирами-комнатушками: низ каменный — верх деревянный. Она не стеснялась любопытных соседей; старуха, уборщица из больницы, прямо спросила её: где муж? Фаина Васильевна посмотрела на грубый, будто лубяной, короб её лица, на поседевшие волосы, откровенно злые глаза и, ничего не ответив, прошла мимо по немощеной улочке, к мостику, под которым шумел школьными голосами весенний, разлившийся ручей под деревянным, обновлённым свежим тёсом мостиком.

С тех пор прошло больше полувека, седым мужиком умер сын, тот ребёнок от случайного солдата, такой же длинный и узкоголовый. Умер внезапно, «от сердца», и муж, косопалый райкомовский служащий, с которым прижила она второго сына. В светлом сером пиджаке, чёрных диагональных галифе, он, ссутулившись над столом, подолгу сидел молча среди сослуживцев, делая вид, что читает бумаги. Он знал, что Фаина ему изменяет. Когда он заговаривал, длинно, зубасто проступал рот на белоглазом, плоском лице, и делалось оно похожим на варёную рыбку голову. Фаина Васильевна держала его в строгости, она всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы... Народный театр, букеты цветов после спектакля в соборе, переделанном под Дом культуры. Ставили пьесу Тургенева. Колкости мужу, белое платье для сцены, свидания с любовником и эта фраза тургеневская про странный стук копыт в темноте. В чёрной плиссированной юбке, плавно поталкивая ткань коленями, призывно покачивая, нежными волнами надвигалась на режиссёра Базиликина, жеманно четкогоголосого, в больших очках, бледного, тоже учителя литературы, и пленила его. Базиликин впервые как актрису её и отметил.

Тургенев... Всегда, как начнёшь перечитывать, находишь в нём что-то тревожное и щемящее, новое... Почему стук копыт в темноте кажется странным? Таким же был пере-

стук колёс вагона, в котором Фаина встретила солдата, и на вторую ночь... Да-да! Подкупив проводника, они оказались в отдельном купе, и солдат сказал: «Я буду вашим личным адъютантом», — пошлым, актёрским тоном.

И как ласково и стыдливо шепнула она ему:

— Толя, что ты делаешь?

Так невыразимо нежно можно лишь один раз в жизни выдохнуть... Остановился поезд. А на чужой станции — тишина ночная, и окно мерцает загадочно, будто приехали в иной мир... Будто остановилось сердце и жизнь её уткнулась в какую-то стенку... Потом Фаина почувствовала и жизнь, и сердце, всё снова качнулось, заходило, как маятник, налилось тёмным ночным соком, стуком... Солдат курил из цветного наборного мундштука, она, не очнувшись ещё, глядела на дым... Задумалась, почему дым стоит на месте, не рвётся от них назад, когда поезд так бесповоротно распарывает пространство.

Теперь, после инсульта, почти всё забыто. Забыты и цветы, вложенные в толстую книгу Тургенева. Тогда она влюбилась в предпоследний раз и гуляла тайком от мужа с бывшим учеником, инженером, высоким, прямым, в очках на нежном бело-розовом лице. Он ей дарил цветы. Немножко портил её белую шею шрам от удалённых гланд, хотя ещё тот солдат целовал его.

Пленила она и директора школы. Уплывали на лодке через Волгу, на заливной берег, под ивы... А жена провела и подстерегла их с веслом. Когда-то он работал в сельской школе, жена, тоже учительница, однажды приехала в городок на конференцию и остановилась у Фаины Васильевны переночевать. Места не было, и они легли на одной кровати. Ночью жена сельского директора с криком проснулась: ей привиделся страшный сон, что она лежит с чёртом... Чёрт был с длинной гривой, обросший шерстью. Большого ужаса в жизни она не испытывала. Это было мне предостережение, вспоминала она потом, узнав о неверности мужа. Фаине Васильевне она тогда об этом сне не рассказала — постеснялась: просто дикость какая-то, женщина и — чёрт!

Давно уже нет и дома того, где родилась Фаина Васильевна, а ее родители, и солдат, и злая соседка в зелёной пальтушке с широкими чёрными бровями, и все её любовники — уже в земле... Уже умерла и память о них, сами образы их иссохли, поблекли и отшелушиваются, тлеют, как лепестки цветов, что заложены в книгу романов Тургенева. Она пережила инсульт и теперь почти ничего не помнит или фантастично путает давно минувшее с сегодняшним днём, забывает дом, своих родных, часто не узнает внучку, сына, его жену, которые ухаживают за ней. Она потеряла свой возраст, то ей семнадцать лет, то она собирается замуж, забыла себя, спрашивает: я умерла или нет?

Не только эта встреча в поезде, и банка тушёнки, и возглас: «Толя, что ты со мной делаешь?» — истаяли со снегом последней зимы. Никто никогда не узнает про мистическое совпадение человека с чёртом: почему Толя привиделся ей лохматым? Всё побурело в памяти и стало одноцветным, как дым. Или что-то сияет из этой бездны? Что? Длительная ясная синева апрельского дня темнеет, стоячие в её просторе у горизонта облака замутняются, а ниже ласково отзываются им живым светом коричневые берёзы. Тишина в этой переглядке оттенков и цветов, покой — как в детской душе, которая хоть и глядит в мир, но сама ещё вся — неотделимая часть этого мира. И это обещает надежду и будущее, которые есть и у засохшего цветка, и у обломанной ветки, и у небесного покоя, читающего меня, как книгу, и вкладывающего в места, согретые любовью, свои живоносные цветы.

Во тьме египетской

Как всё это было, я давно себе представляю.

Август 1948 года, война кончилась три года назад. По тайге у Енисея идут в тайный скит двое — семидесятилетний Симеон, круглолицый, с белой бородой, и его ученик, Афанасий, которому к тридцати. На пути валежины, ямистые моховины. Старец часто оступается, падает на мох.

— Да что же это я всё падаю? — удивляется он. — А ты как думаешь, будет война или нет?

— Только и войны-то будут при шестой трубе, — отвечает, продолжая толкование, Афанасий, странный, с высоким лбом, закинутыми назад длинными чёрными волосами и с удивительно мягким и проникающим взглядом.

Глухо вокруг, только щёлкают сухие сучки чёрных деревьев да, сухо вздыхая, подминается под сапогами мох.

— Почему ты знаешь, может, теперь время шестой трубы? — вопрошает Симеон.

Молодой брат отвечает как по писаному:

— Отрешение пятой печати и пятая труба знаменуют советскую власть. Под алтарём — души убиенных за слово Божие. Это пророчество сбылось, когда царя свергли, всех князей, епископов, попов и священников стали мучить, казнить. Так же и с трубами. Пятая труба означает пятичное время, сиречь пятилетки, и с революции оно идёт и сейчас. А когда наступит отрешение шестой печати и шестой трубы, то опять будет другой закон и правила. Сейчас говорят, что Бога нет, а потом закричат, что Бог воцарился, приидите поклониться ему. Я думаю, что вострубит шестая труба, и начнётся война, и Антихрист утвердится...

— Ради Христа! — приговаривает Симеон-старец, пытая разума у юного брата. — Сказывают, что во времена Зверя — звери и управлять будут Русией? Потому ли так говорят, чтобы придать тому страшному времени лицо, а может, это и басня, а?

Смиренно, тем же тоном Афанасий отвечает старцу. Они всё идут: от сине-серого, широкого Енисея — в Петербург, сквозь октябрьскую ночь 1917 года дальше, во французскую революцию 1789 года, сквозь Реформацию, Возрождение — к падению Византии и Рима, к гонениям на христиан. От пятой трубы — ко второй и первой. Дух гонителей — это всё тот же дух и современной цивилизации. Вот они в апостольском веке, видят, что вокруг нарастает огромное шествие святых мучеников и навстречу им встаёт солнце — это Христос, одетый в свет, выступает из-за края земли. И вся Русия с ними туда уходит, а мы — последние, задние люди во тьме, где уже наступило шестичное время...

Так бегут и бегут мысли. Полдень как вечер — тёмный, унылый. Вот в такие мрачные дни, говорят, и совершаются самоубийства. Я иду по асфальтовой сырой дороге. По сторонам из канавы торчит голый коричневый прутняк, мокро топорщится он и по заброшенным серым полям. Высохшие, будто из проржавевшей жести сорняки одни украшают их. Всё голое, мёртвое, бесцветное. Небо без горизонта уныло парит туманом, сливаясь с верхушками сосенок за полем и замышляя продолжить дождь, который хлестал всю ночь. Декабрь нынче без снега, какой-то неживой...

Засерелась впереди, в стороне от дороги, поредевшая, полумёртвая деревенька. Под кустом раздаются крики. Туда выбросили мусор, вороны и галки вокруг устроили собрание. Большая, деловитая ворона взяла в клюв полиэтиленовый пакет и, низко, экономно перелетев, опустила в огород, за забор, под яблоню...

У железной зелёной клетки стоят две женщины, дожидаются автобуса и поглядывают на бесприютную дорогу. Вокруг остановки мусор, окурки, бутылки. В эти тёмные дни всякая пакость и мерзость так и льнёт к душе — всё неприятное становится заметнее. Я поздоровался и решил переждать надвигающийся дождь под железной крышей. Одна — дачница, моложавая пенсионерка в весёлой малиновой курточке, другая — низенькая, почти квадратная старушка из местных, в новом синтетическом балахоне. Большелица, с треугольно выдававшимся носом, она очень похожа на Анну Григорьевну из Золотухи.

Я прислушивался к их разговору, собираясь от скуки вставить в него что-нибудь своё. Места здешние по Юхоти и Волге я знаю хорошо. Спросить разве про Афанасия? Дом его в Кадошниках, километрах в семи отсюда. Про него я узнал случайно, когда в Кадошники заехали к колодцу за водой.

— Вон дом-то Афанасия, сам срубил. Это всё Афанасия! — приговаривала ласково высокая, в плюшевой пальтушке хозяйка, прихрамывая у тёмной стены своего сруба. — И колодец его, сам копал, — повторяла она про соседа с таким домашним чувством, что подумалось: вот-вот и сам Афанасий выйдет. Но когда мы спросили, где же он сейчас, хозяйка, грузно дыша, остановилась и недоумённо ответила, что не знает: как сорок лет назад ушёл на фронт, так пришло от него только два письма, а потом как в тучку канул. Из Москвы написали, что он ни жив, ни мёртв — без вести пропал...

Но это было давно, во времена моей молодости. Теперь и соседка, и вдова Афанасия, наверно, умерли... Умерла и Анна Григорьевна из Золотухи, которая говорила: «Отсидела десять лет в лагере, а за что — и сейчас не знаю!»

И стал ещё тоскливее и досаднее этот щербатый, выезженный асфальт, а непривычная пустота и мрак вокруг давили так болезненно, будто жизнь здесь уже кончилась. Я заговорил с женщинами о погоде.

— Тёмка какая, какая тёмка! — повторяла местная старушка. — А ведь уже и Никола на носу...

Она повернулась туда, где вдаль переходили одинокое поле столбы. Автобус запаздывал.

— Тьма египетская. Просто тьма египетская! — примолвила, не шелохнувшись, малиновая куртка. Белесое, тоже пустое лицо её в мелких морщинках при этом ничего не выражало. «С такими же лицами стоят в очередях и едут в московском метро. А тут чернота и умершее поле, отсюда надо бежать, а не стоять ждать чего-то», — раздражённо думал я, и так захотелось удивить их предсказанием молодого брата в таёжном скиту про шестичное время, которое уже наступило. Но я промолчал, зато малиновая куртка, ещё ярче глядевшаяся в этой не зимней «тёмке», растолковывала местной старушке, что такое — тьма египетская:

— Казни такие от Бога находят на человека. В Библии сказано, что три дня в Египте стояла такая тьма и даже свет не горел! Только у евреев...

— Отключали, что ли? — заинтересовалась лениво старушка. — У нас тоже было — провода срезали, эвон! — кивнула она на дальние столбы, заправив седую прядь под платок.

Горожанка стала поправлять, разъяснять, почему не горел свет... Вспомнили про чудеса.

— А у нас Маланьюшка в Коровине жила... И в войну и после войны все к ней ходили. Только откроет Псалтырь и сразу же скажет тебе — жив или не жив... — причитала старушка.

— А вот мне мама рассказывала... Я здешняя, — остановила её дачница, — в город после школы уехала... — И пересказала, как бабушки тётка родная пошла в церковь, в

Поводнево. Это на том берегу Волги, к Угличу. И стала её давить чёрная тройка. Перекрестится тётка — тройка и исчезнет. Оглянется — вновь нагоняет. Так и убегала всю дорогу. А тем же летом первая мировая война началась...

Рассказывая, она впервые подозрительно уставилась на меня:

— А вы куда направляетесь, к кому?

— Мне в другую сторону. Я к парому, из Дора еду, — начал было объяснять я, но автобус уже подходил, одинокий, полупустой. Женщины забрались в эту железную нору на колёсах, за заплаканные стёкла.

Дождик всё не начинался... Я постоял и снова пошёл со своими мыслями по дороге от пятой трубы — к шестой, из пятичного времени — в шестичное. В душе истаивали случайные слова двух женщин с автобусной остановки, вязнувшие в этом сером, больном воздухе: осталась одна тьма египетская от них. Опять закрапал дождь. Угнетающее, неприятное чувство я испытывал всю эту неделю без солнца, как в Заполярье. Только там морозная мгла, а здесь сырой пар с дождём, будто само небо рухнуло и расплзается на обессиленной земле. Не зима, не осень, не лето, а сами оголившиеся мышцы, плоть внутренняя природы обнажены: с тела её содрана зелёная и бурая кожа...

В деревню Дор меня попросил съездить приятель из Ярославля, посмотреть ему дом под дачу. А срубы там из закаменевшей сосны в обхват, по сто лет без ремонта стоят. Чудесную, странную я там встретил жительницу, её все называют полоумной бобылкой. Даже в избушку к ней зайти я побоялся. Двери на крыльце не было. На порог вышел козёл и пристально уставился на меня жёлтым глазом. «Не пустит, ещё на рога возьмёт! — предостерегали меня провожатые. — Это он дверь рогами и выбил, чтобы ему выходить было удобно. Козёл в избе вместе с хозяйкой живёт, и коза, и курицы...»

Полоумную бобылку опекали всей деревней. Уйдёт на болото за клюквой и пропадёт на два дня. Её пойдут искать. А она выпитая во мху и снова ягоды собирает... И ничего ей не делается, не простужается никогда.

— Как только она терпит? — удивлялась особенно одна веселоглазая пенсионерка в мужской телогрейке, с простым, ясным лицом и отзывчивым, добрым голосом. — В прежние зимы у неё вода на лавке в ведре за ночь замерзала. А то сидит у стола босиком, а крысы выйдут из-под печки и ногти ей на ногах обкусывают. Мы говорим: «Прогони их! Как ты выносишь такое?» А она отвечает: «Они не кусаются, они хо-ро-шенькие!» — нараспев, изображая полоумную, смеялась пенсионерка...

Так я, вспоминая, иду да иду. До переправы через Волгу часа полтора-два ходу. Автобус всё равно только к вечеру пойдёт, пешком — скорее. Присмотрел приятелю дачу, будет доволен.

На пароме я переезжал уже в потёмках.

— Погасите в салоне свет! — крикнул моторист из своей рубки с красными фонарями, с высоты, как с чёрного неба.

В едва различимых рядах автомобилей, в «газели», где зазевался забывший паромные правила водитель, щёлкнул выключатель, и на дебаркадере стало темно. Всё, что было под ногами и вокруг, точно повисло в мрачной бездне, лишь лучи прожектора с рубки, как клешни, ощупывали её, да в сырой тьме радостно, как сквозь слёзы, переливались огни на том берегу.